Александр ПРОХАНОВ

ВИДЕНИЕ «СТАЛИН»

Глава из романа

НОЧЬЮ ШУМЕЛО, громыхало по крышам, било по карнизу, хлестало по стёклам. Вдруг тяжко ухало и катилось, унося с собой зеркальную вспышку. Я просыпался, видел забрызганное, в зеленоватом свете окно, гаснущую лиловую вспышку. Засыпал, чувствуя, как совершаются за окном в весеннем московском ливне таинственные перемены, охватывая комнату, где я спал, шкаф со стеклянными вазами, где продолжала держаться небесная вспышка, чёрный ковёр, на котором вдруг загорались красный и синий узоры. Сквозь молодой сон я чувствовал, как что-то меняется и во мне, взрастает, пользуется ночью, чтобы совершить во сне чудесные перемены.

И утром — счастливое пробуждение, свет в глаза, умытый блеск окна, водянистое пятно солнца на стене, книжный шкаф, где в сумраке горят тусклым золотом кожаные корешки старинных книг, неразборчивые голоса мамы и бабушки в соседней комнате, где готовят завтрак, берегут мой сон в праздничное майское утро, когда не надо через силу вставать, собираясь в школу, а можно нежиться в постели, предвкушая огромный светлый день, распахнувший мне свои объятья.

Боже, как преобразился за окном тополь, вчера нелепый, корявый, с кривыми ветвями, чуть опушённый туманной зеленью, в которой розовели нераспустившиеся почки. А сейчас сплошь изумрудный, сокрывший своим великолепным шатром переулок, фасад соседнего дома с лепниной, старую колокольню, что смотрит из-за тополя сиреневой нежной и печальной красотой, какой светятся старые разорённые церкви.

Быстро встать, ополоснуться водой из медного крана, сесть с мамой и бабушкой за круглый стол, залюбоваться чудесной глазуньей: чёрная сковородка, разлитый млечный белок, яркие, выпуклые, золотые желтки. Свежая булка в деревянной хлебнице с вырезанным

снопом, косой и цепом. Сладкий обжигающий чай с крутящимися чаинками. Поцеловать торопливо маму и бабушку и в новой вельветовой курточке, такой нарядной, свежей, выскочить из дома на улицу. Вдохнуть и опьянеть от густого влажного воздуха с запахами древесных соков, мокрой земли, железных, омытых дождём крыш, с духом тяжёлых булыжников мокрой мостовой. Найти под тополем сбитую ливнем веточку с зелёными листиками, липкими клювиками раскрытых опустевших почек. На пальцах останется клейкое пятнышко, долго пахнущее чудесной горечью громадного дерева.

Наш Тихвинский переулок вымощен булыжником. Ему не хватило асфальта. Ночной ливень смыл с мостовой всю пыль, грязь, зимнюю ржавчину, и камни просияли, как самоцветы. Алые, золотые, голубые, зелёные, таинственно фиолетовые, блестяще серебристые. Они казались глядящими в небо разноцветными глазами. Эти округлые валуны были принесены в переулок древними ледниками с далёких гор, искусством мастера-великана уложены во всю длину переулка, как мозаика. По ним в былые времена цокали подковы лошадей, стучали обода карет и пролёток. Теперь изредка продребезжит грузовик, прошелестит на упругих шинах легковушка.

ЭТИ СЛУЧИВШИЕСЯ за ночь перемены: распустившийся великолепной зеленью тополь, раскрывшая изумлённые глаза мостовая, колокольня, из серой, изнурённой нищенки ставшая весенней красавицей в сиреневом платье, — все эти перемены случились и со мной. Вчера, хмурым вечером, печальный, о чём-то неясно горюющий, я ложился в кровать, ночью слышал ливень, озарялся летучими молниями и утром встал радостный, обожающий, с лёгкостью молодого весёлого тела.

В переулке было пусто, просторно, но там, где он вливался в Новослободскую, что-то двигалось, шевелилось, густо темнело, вспыхивало. Раздавался ровный шум, музыка. Первомайская демонстрация вязко тянулась от Савёловского вокзала по Новослободской, по улице Чехова, к Пушкинской площади и там, сливаясь с другими потоками, двигалась к Красной площади, к мавзолею, на котором стоял Сталин. И всё это бессчётное многолюдье терпеливо тянулось к мавзолею, чтобы показаться Сталину, пройти перед ним нескончаемой колонной, исполненной силы и радости.

— С вечера стоишь? — мой закадычный друг Владка Лебедев насмешливо окликнул меня, появившись внезапно из туманного солнца и влажной зелени блестевшего самоцветами переулка.

— Тебя дожидаюсь, — я был рад ему, принял дружеский удар кулака в плечо. Видел близко его круглое яркое лицо с мягкими, чуть оттопыренными губами, серые пушистые брови, из-под которых упрямо смотрели голубые, слегка навыкат, глаза с самоцветными искрами. Мы оба оканчивали седьмой класс. Я, Олег Муравьёв, считал Владку другом, признавая в этой дружбе его превосходство, охотно уступал ему первое место в наших увлечениях, восхищался его напором, сообразительностью, лёгкостью, с какой он получал отличные оценки по самым трудным предметам, обгоняя в успеваемости всех в классе.

— Пойдём с народом. — Владка кивнул на мерно шумящую гущу, — Посмотрим Сталина.

— Не далеко ли идти?

— Была бы цель.

Он говорил убеждённо, я с ним соглашался, будто у него были опыт и знание, мне недоступные. Иногда я ему возражал, но очень скоро сдавался, чувствуя в нём уверенность и волю, каких мне недоставало.

Мы поднялись по переулку к Новослободской, и мимо нас густо, ровно плыли лица, флаги, портреты, транспаранты. Вязкая медленная толпа без начала и конца шумела, шаркала по асфальту, затягивала песню, которая тонула в другой, переливалась в третью. Люди были праздничные, надели лучшее. Мужчины казались посвежевшими, молодцеватыми, басили, подмигивали, цепляли женщин, а те хохотали, похорошевшие, озорно откликались. Не было в людях тусклой будничности, угрюмой суровости, какие заметны на улицах, в очередях, в трамваях, во дворах. В первомайской колонне люди светились, радовались своей общности, шли на смотрины, хотели быть красивыми, жизнелюбивыми.

Я смотрел, как проплывает мимо красный транспарант с надписью "Хлебозавод имени Микояна", и другой — "Московский станкоинструментальный институт". Глядя на первый транспарант, я вспомнил запах тёплого хлеба, который всегда доносился из-за железнодорожных путей у Савёловского вокзала. А глядя на второй, представил немецкий танк на внутреннем дворе института, и студентов, залезавших в стальные люки подбитой машины.

— Давай пристроимся, — Владик потянул меня, желая протиснуться вглубь колонны. Но мужчина с красной повязкой преградил нам путь:

— Чужих не пускаем.

— Да мы свои.

— Вот и ищите своих, — и грозно выставил нас из колонны.

— Пошли вперёд. Как черепахи плетутся. Впереди пристроимся.

Мы заскользили по тротуару, обгоняя медлительную колонну.

Небо было синее, весеннее, без облачка. Кирпичная стена Бутырской тюрьмы сочно краснела, нависая над чёрной, тягучей колонной. Я подумал, что узники за этой стеной — грабители, воры, мошенники, — слушают из своих камер музыку, возгласы, ровный, как море, шум толпы.

Обгоняя колонну, миновали Палиху с булочной на углу, где продавали тёплые, с хрустящей корочкой бублики, усыпанные маком.

Остался сзади гастроном, который бабушка называла "Куртников", по имени прежних хозяев. На его закопчённой стене кафелем было выложено: "Бакалея".

Слева осталась Селезнёвка с пожарной каланчой и маленьким прудом, из которого взлетали утки и ярко зелёные, синие, с золотыми головками селезни. Там же, за домами, укрытая в деревьях, пряталась действующая церковь "Новый Пимен", как её называли. Путь к ней указывали смиренные женщины в платочках, несущие веточки вербы, кульки с куличами. Я не был в ней ни разу. Хотя влекло к себе суровое, древнее, из пушкинских поэм, имя "Пимен". Меня останавливала странная запрещающая сила, которая откладывала это посещение на другое время, когда я буду готов к встрече с таинственным и сладко влекущим.

САДОВАЯ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ валила колонна, была пустой, без машин, просторно и солнечно уходила в обе стороны, блестя окнами высоких домов, изумрудной зеленью скверов. У Садовой заканчивалась часть города, которую я считал своей. Здесь обрывались мои прогулки. Достигнув шумной, блистающей, переполненной машинами и огнями Садовой, я поворачивал вспять, возвращался в свой район, близкий к окраинам. Там дома, переулки, дворы были обжиты, с особым людом, неповторимость которого была трудно выразима, но отличала его от жителей московского центра.

Улица Чехова, по которой мы приближались к Пушкинской площади, не была чужой. Из окна трамвая я любовался красивыми особняками, высоким, с шершавыми колоннами, домом, о котором бабушкин брат, дед Николай, сказал: "Очень недурственная архитектура". Многие годы спустя, проезжая мимо этого дома, я вспоминаю деда Николая, его костлявую укутанную в хлипкое пальто фигуру, впалые щёки и язвительный рот, в котором дымила папироса. Он был офицером на русско-турецкой войне, награждён "золотым оружием", отсидел в лагерях и появился в нашем доме изможднённый, полный желчи, затевая частые ненужные ссоры в трамваях, в очередях, давая выход копившемуся в нём ядовитому негодованию.

— Давай встраиваться, дальше будет труднее, — Владка высматривал в колонне прогал, куда было можно скользнуть. Две молодые женщины несли розовые шары, которые болтались на весеннем ветру. Им было хорошо, из-под беретов смотрели свежие лица, бегали шаловливые глаза. Они нравились идущим рядом мужчинам. Подмигнули нам.

— Сюда, — сказал Владка. Мы юркнули в колонну, прятались в её глубине.

Старались поймать шаг, чтобы нам не наступали на пятки.

Перед нами возник мужчина с красной повязкой. Его розовое после недавнего бритья лицо было не строгим, мягким.

— Вы куда, пузыри? Кто такие?

Я был готов послушно покинуть колонну, пугливо поглядывая на начальственную повязку. Но Владка, глядя восторженными синими глазами, вдруг запел: "Мы — красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ".

Он искоса взглянул на меня, я понял, что должен делать. "О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы гордо, мы смело в бой идём!" — подхватил я. И оба звонкими, истовыми голосами восторженно пропели: "Веди, Будённый, нас смелее в бой! Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, пожар кругом. Мы — беззаветные герои все, и всяко наша жизнь есть борьба".

Мы пели так заливисто, с такой гвардейской удалью, что дежурный с повязкой махнул рукой и оставил нас в колонне. Мы плыли в могучей, медленной реке. Она казалась тёмной, люди были в неярких одеждах. Отсутствовали цветастые галстуки и платки. Словно никто не хотел выделяться, не желал красоваться, сливаясь в общий послевоенный цвет. Яркими оставались портреты в руках демонстрантов. Лица вождей выглядели молодыми, сочными, ордена у них на груди пламенели. Вокруг портретов особенно густо скопилось алого, сияющего. Рядом со мной плыло лицо Берии с чёрными симпатичными усиками, в очках. Колыхались Молотов, Микоян, Каганович, остекленело глядя поверх толпы, где им что-то виделось. Портрет Сталина был вдвое крупнее. Френч с бриллиантовой звездой, фуражка с нарядной кокардой, знакомое, с седеющими усами лицо, чуть прищуренные глаза. Раму, окружавшую портрет, украшали яркие бумажные розы. Сталин был красивый, родной, седоусый, знакомый по множеству портретов, висевших в детском саду, школе, поликлинике, размещённых в учебниках, газетах. Этот, окружённый розами, походил на другие, но мягкая ткань, на которой он был написан, чуть вздрагивала от ветра, и лицо казалось живым.

Я ОСМАТРИВАЛСЯ. В колонне, где я шёл, женщин было гораздо больше мужчин. Молодые, по две, по три, зыркали на шагавших рядом мужчин, громко и беспричинно смеялись, голосисто и воодушевлённо пели. Те, что постарше, среди песен и возгласов оставались спокойными, молчаливыми, с тихой вдовьей печалью на лицах, так похожих на мамино родное лицо.

Мужчины несли портреты, держали древки транспарантов. Рядом шагал безрукий, с пустым рукавом. У другого лицо рассекал лиловый рубец, делавший рот кривым, так что не закрывался золотой искусственный зуб.

Окружённый взрослыми, сбитыми в колонну, я вдруг почувствовал свою затерянность, незначительность и ненужность. Моя жизнь казалась стиснутой, слиплась со множеством других жизней, потеряла свою неповторимость. Это испугало меня. Но эта же толпа, поглотившая мою жизнь, наделяла меня силой, делала огромным. Я был великан. Толпа принадлежала мне. Её хвост терялся за Савёловским вокзалом среди депо и заводов, а голова выходила на Красную площадь. И всё это был я. Праздник был в мою честь. И хотя среди портретов отсутствовало моё лицо, но это меня славили песни и возгласы. Весь весенний, краснознамённый праздник был устроен ради меня.

Владка шагал поодаль, крепко ступая, поворачивая к соседу плечо. Что-то ему втолковывал, взмахивал рукой. Сосед был взрослый, но слушал внимательно, как если бы Владка рассказывал что-то важное, тому досель неведомое. Владка умел разговаривать с людьми, заинтересовывал их, и мне с моей застенчивостью было до него далеко.

Колонна из улицы Чехова изливалась на Пушкинскую площадь, изгибалась, втягивалась в Пушкинскую улицу, спускаясь к Дому Союзов.

Я увидел другую колонну — чёрную, тяжёлую, изукрашенную флагами и портретами, она текла по улице Горького через площадь вниз, к Манежу. Мы с Владкой перебежали в эту колонну. Она казалась торжественней, сулила скорую встречу с тем, кто стоял на мавзолее среди кристаллических блестящих уступов.

Пушкинская площадь всегда рождала у меня тёплое умиление. Была знакома с детского сада, когда бабушка, держа мою маленькую руку в пёстрой варежке, вела меня к фонтану, полному истоптанного снега, на ёлке качались огромные хлопушки и снежинки, с деревянной, политой водой горки, по чёрной наледи с визгом катились и падали дети и взрослые, а продавщицы мороженого, толстые, со свекольными лицами, замотанные в платки, доставали из сундуков на колёсиках твёрдые, как камень, пачки сливочного.

Мы без приключений проникли в колонну, которая вязко топталась у "Известий" и кинотеатра "Центральный". По фасаду "Известий" бежала игривая строчка из множества мигающих лампочек. На фасаде кинотеатра красовалась реклама нового фильма. Лихой усач взмахивал саблей, хмурил грозные брови, а вокруг рекламы среди бела дня бледно горели лампы.

— Если спросят, кто мы, отвечай: "Отбились от Второго часового завода", — Владка предусмотрел возможные осложнения, проводив глазами удалявшийся транспарант с нарисованными часами.

От Пушкинской улица Горького парадно спускалась вниз, мимо магазина "Армения" с угловой башней, где высилась белая статуя физкультурницы, её парящие в небе крепкие бёдра и алебастровые круглые груди. Отсюда марш колонны становился быстрее, из громкоговорителей неслась громоподобная музыка, гуще краснели флаги, больше становилось портретов Сталина, всё тот же житель с алмазной звездой, седеющие усы, прищуренный взгляд. Цель, к которой стремилась колонна, была близка, торопила. Уставшие за долгое шествие люди приободрились. Громче звучали здравицы. Шире становился шаг.

Я чувствовал эту влекущую силу, таинственную волю, реющую в весеннем небе среди флагов и цветов. Я отдавался этой воле, счастливо повиновался.

Елисеевский гастроном слабо дохнул ванилью и чем-то горьковатым и грустным. Так пахнул наш стеклянный домашний буфет, сохранивший запахи жизни, которой давно не стало. Лишь раз я заглянул в Елисеевский и был поражён сказочными палатами, сусальным золотом, яркими росписями, среди которых вот-вот появятся богатыри, царевны, волшебники, а царские яства — остроносые осетры, разноцветные фазаны, копчёные окорока — уже выставлены в стеклянных витринах.

МОСКВА БЫЛА ПРЕКРАСНА. Прекрасными казались нарядные дома с балконами. Величаво гарцевал на коне Юрий Долгорукий. Таинственно, как самоцвет, вращался в глазнице на фасаде телеграфа голубой глобус.

Портреты над толпой казались парусами, в них дул весенний ветер, и они несли нас к заветной и уже близкой цели.

Манежная площадь распахнулась ликующе, залитая солнцем, с красной кремлёвской стеной, белым сахарным Манежем, янтарным дворцом, где каждое окно окружено чудесным каменным кружевом.

"Да здравствует наш великий вождь и учитель товарищ Сталин!" — неслось звонко и восторженно над толпой. И колонна радостно откликалась раскатистым "Ура". "Да здравствует отец всех народов земли Иосиф Виссарионович Сталин!". По колонне катилось рокочущее "Ура", как волны, которые ревуще сталкивались, разлетались, угасая вдалеке, и вновь возвращались, вздымались громогласным валом.

Я кричал со всеми. Мог кричать во всё горло, и никого не удивлял мой крик. Он тонул в общем громе, среди раскрытых ртов, блестевших глаз, трепещущих флагов. Какое счастье — вливать свой крик в ликующие, сотрясающие небо возгласы.

Я был со всеми, один из многих, незнакомых и вдруг ставших родными людей. С ними было чудесно. С ними я был готов совершать невероятные подвиги, превозмочь великие труды, идти на бой и умереть, как умер в бою за Сталинград мой отец, посвящая свою жизнь и свою героическую смерть вождю. И вождь, тот, что посылал в бой моего отца, ждёт меня, высматривает в людском море, хочет поведать что-то, предназначенное мне одному.

Владка кричал, как и я. Прикладывал ладони ко рту, чтобы звук был громче. Я заметил его шальной взгляд. Казалось, его восхищала сама возможность безнаказанно кричать.

Мы перетекли Манежную площадь, приближаясь к кирпичному островерхому Историческому музею. Стали омывать его справа, вдоль тенистой кремлёвской стены. Другая колонна от Дома Союзов, как мохнатая гусеница, ползла по Манежной, огибая Исторический музей слева. Обе колонны, попав на Красную площадь, слились и текли мимо мавзолея во всём кипящем бушующем многолюдье, приветствуя стоящего на трибуне вождя.

Под ногами заблестела брусчатка. В тени Исторического музея чёрная, с металлическим блеском, она походила на чешую огромной каменной рыбы. Я ступал на неё, слыша, как вздрагивает эта рыба. Вместе со мной ступало множество ног, обутых в ботинки, бутсы, сапоги, женские туфли, парусиновые, начищенные мелом тапочки. Я думал, что мои ботинки ступают след в след тем бойцам, что шли парадом сорок первого года и растворялись бесследно во вьюжных полях Подмосковья.

Мы выходили на площадь. Синие ели торжественно темнели вдоль малиновой зубчатой стены. Внезапное солнце ослепило. Площадь, солнечная, бушующая, плескалась, гудела, ахала. Все лица обратились в одну сторону, туда же тянулись руки, флаги, цветы, жадно смотрели глаза. Солдаты с винтовками стояли в ряд, сдерживая натиск толпы. Штыки на винтовках блестели. То один, то другой загорался на солнце. Казалось, на плече у солдата вспыхивает голубая звезда.

Мы достигли мавзолея. Колонна ревела, захлёбывалась, влеклась туда, за блестящую сталь штыков к мавзолею, где стоял вождь. Я стремился его увидеть, но меня оттесняли. Загораживали спинами, затылками, флагами. Я метался, желал пробиться, чувствовал, как меня проносит мимо, и Сталина заслоняет плотная живая стена. И сейчас случится невосполнимое горе, неутешное несчастье, меня унесёт с площади, и я не увижу вождя.

На одно мгновенье толпа разомкнулась. В тонкий исчезающий прогал я увидел мавзолей в розовом блеске, шлифованные уступы, и на верхнем уступе — Сталин. Он был в тёмном френче, драгоценной каплей мерцала звезда, краснела на фуражке кокарда, на бледном лице виднелись серые усы, под которыми улыбался рот. Правая рука была поднята и слабо махала.

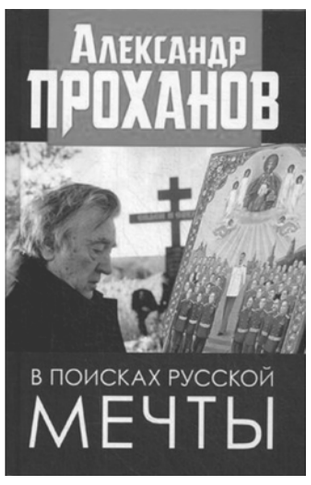
Он исчез, заслонённый толпой, но этого было достаточно, чтобы от Сталина ко мне прилетел волшебный луч, высветил меня, словно я был из стекла, и остался во мне навсегда. Тогда на площади Сталин поцеловал меня, и этот поцелуй я чувствую всю жизнь. Сталин присутствует во мне, как огонь в лампе, как чудесный мираж, розовый, голубой, трепещущий на граните мавзолея. Счастливый, я спустился с колонной мимо Василия Блаженного. В синем небе он казался великолепным весенним букетом небывалых цветов и бутонов. Достигнув набережной, колонна рассыпалась, рассосалась, растворялась в солнечной Москве.

Мы с Владкой шли по гранитной набережной, глядя, как по солнечной реке бежит трамвайчик, оставляя серебряный след.

— На портретах он краше, — задумчиво произнёс Владка. Я не ответил. Всё чувствовал сердцем пронзивший меня луч, поцелуй Сталина.

Иллюстрации: детские рисунки Александра Проханова, 1945 год

Александр ПРОХАНОВ. Паола Боа. Цифра. — М.: Вече, 2018. — 384 с.



Александр ПРОХАНОВ. В поисках русской мечты. — М.: Книжный мир, 2019. — 494 с.

Александр ПРОХАНОВ. Вопрос в лоб. — М.: Наше Завтра, 2021. — 650 с.

Александр ПРОХАНОВ. День. — М.: Наше Завтра, Вече, 2021. — 383 с.

Александр ПРОХАНОВ. ЦДЛ; Оплавленный янтарь. — М.: Наше Завтра, Вече, 2021. — 350 с.

Александр ПРОХАНОВ. Леонид. — М.: Книжный мир, 2021. — 428 с.

Александр ПРОХАНОВ. Око президента. Собрание романов. — М.: Книжный мир, 2021. — 1392 с.